

ГЛАВА 1

Ноябрь 1961 года

В далеком 1961 году, когда женщины носили платья спортивного кроя, вступали в клубы садоводов и ничтоже сумняшеся возили с собой легионы детишек в автомобилях, не оснащенных ремнями безопасности; когда никто еще не задумывался о каком-то движении бушующих шестидесятых, а тем более о его участниках, которые еще шестьдесят лет будут писать мемуары; когда большие войны уже закончились, а тайные войны только начались и люди учились мыслить по-новому, веря, что ничего невозможного нет, тридцатилетняя мать девочки Мадлен Зотт ежедневно поднималась до рассвета с одним-единственным убеждением: жизнь кончена.

Невзирая на такую уверенность, она пошла в лабораторию, чтобы собрать для дочери школьный обед.

«Топливо для учебы», — черкнула Элизабет Зотт на крошечном листке для записок, перед тем как вложить его в пластмассовый контейнер. Потом застыла с поднятым кверху карандашом, будто передумала. «На перемене играй в подвижные игры, но не отдавай победу мальчишкам», — написала она на следующем листке. Сделав еще одну паузу, постучала карандашом по столу. «Нет, это тебе не кажется, — вывела на третьем. — Люди в большинстве своем ужасны». Два последних листочка она положила сверху.

Маленькие дети обычно читать не умеют, а если и умеют, то лишь отдельные слова: «кот», «сад». Но Мадлен читала с трех лет и теперь, в пятилетнем возрасте, уже освоила почти всего Диккенса.

Вот такой девочкой росла Мадлен: из тех, что могут напеть какой-нибудь концерт Баха, но не умеют завязывать шнурки; из тех, что могут объяснить вращение Земли, но спотыкаются на игре в крестики-нолики. Здесь и крылась некоторая проблема. Если юного музыканта всегда осыпают похвалами, то юного грамотея — никогда. И все потому, что юные грамотеи добились успеха в той области, где со временем преуспеют и все остальные. А значит, того, кто вырвался вперед, ждет не уважение, а только всеобщее раздражение.

Мадлен это понимала. И взяла за правило каждое утро (когда мама уже ушла, а соседка-няня Гарриет на что-нибудь отвлеклась) вытаскивать из пластмассового ланч-бокса эти листки, прочитывать и убирать ко всем остальным запискам — в обувную коробку, задвинутую в недра стенного шкафа. Потом в школе она притворялась такой, как все, то есть, по сути, неграмотной. Для Мадлен важнее всего было не выделяться. У нее имелся железный довод: ее мама выделялась всегда и во всем — вот и полюбуйте, к чему это привело.

Там, на юге Калифорнии, в городе Коммонс, где обычно стояла теплая погода, но не слишком теплая, а небо пленяло синевой, но не чересчур синей, и жители дышали чистым воздухом — просто потому, что воздух еще сохранял чистоту, — Мадлен, лежа с закрытыми глазами у себя в спальне, выжидала. Вскоре — она знала — ее ласково поцелуют в лоб, бережно поправят на плечах одеяло и шепнут на

ушко: «Живи сегодняшним днем». Еще через минуту она услышит, как затарахтит автомобильный двигатель, как захрустит под колесами «плимута» гравий и как передача с глухим лязгом переключится с задней на первую. И мама, вечно смурная, помчится в телецентр, чтобы надеть передник и выйти в студию.

Программа называлась «Ужин в шесть», и общепризнанной ее звездой была Элизабет Зотт.

ГЛАВА 2

Пайн

Некогда ученый-химик, Элизабет Зотт отличалась изумительной кожей и такой манерой держаться, которая безошибочно выдавала в ней незаурядную натуру — из тех, кому не грозит раствориться в общей массе.

Как и любую настоящую звезду, ее открыли. Впрочем, Элизабет заметили не в кафе-мороженом, не на парковой скамье во время случайной прогулки, не при удачном посредстве знакомых. Нет, ее открыли в результате пропаж, а точнее — пропаж съестного.

История была незамысловата: девочка по имени Аманда Пайн, которая любила поест до такой степени, какая наводит на размышления некоторых психотерапевтов, положила глаз на школьные обеды Мадлен. А все потому, что обеды Мадлен были особенными. Если другие дети жевали сэндвичи с арахисовой пастой или с конфитюром, то Мадлен, открывая свой обеденный контейнер, находила там щедрый ломтик вчерашней лазаньи, жареные цукини, экзотический плод киви, разрезанный на четвертинки, пять круглых, с жемчужным отливом помидоров черри, миниатюрную дорожную солонку с йодированной солью крупного помола, два еще теплых кругляша печенья с шоколадной крошкой и красный клетчатый термосок с холодным как лед молоком.

Из-за такого содержимого ланч-бокс Мадлен соблазнял всех, в том числе и саму Мадлен. Но Мадлен угощала только Аманду, потому что дружба требует жертв, а еще потому, что Аманда, единственная на всю школу, не дразнила Мадлен за ее детские странности, которые та уже и сама подмечала.

Элизабет заподозрила неладное только тогда, когда обратила внимание, что на тщедушной фигурке дочери одежда стала обвисать ветхой тряпицей. Согласно материнским подсчетам, суточный рацион Мадлен в точности соответствовал потребностям оптимального развития, то есть с научной точки зрения потеря веса просто не представлялась возможной. Тогда что же: скачок роста? Нет. В своих расчетах Элизабет учитывала потребности растущего организма. Раннее расстройство пищевого поведения? Очень сомнительно. Дома, за ужином, у Мадлен всегда прорезался зверский аппетит. Лейкемия? Определенно нет. Элизабет никогда не впадала в панику: ей было несвойственно ворочаться без сна по ночам и воображать, как ее дочку подтачивает опасный недуг. Человек науки, она всему искала рациональное объяснение и нашла его в тот миг, когда увидела Аманду Пайн с томатно-красными губками.

— Мистер Пайн, — выпалила Элизабет в среду днем, пулей промчавшись мимо администратора через приемную местного телецентра прямо в студию, — я три дня пытаюсь до вас дозвониться, а вы так и не удосужились хотя бы из вежливости набрать мой номер. Меня зовут Элизабет Зотт. Я мать Мадлен Зотт, наши дети учатся в подготовительном классе начальной школы «Вуди», и цель моего посещения — проинформировать вас о том, что ваша дочь под надуманным предлогом завязала дружбу с моей дочерью. — Поскольку он пришел в полное

замешательство, Элизабет пояснила: — И теперь ваша девочка обедает мою дочь.

— Об... обедает? — еле выговорил Уолтер Пайн, разглядывая стоящую перед ним роскошную женщину в белом халате: такое явление могло оказаться сродни сошествию благодатного огня, не будь у нее на халате инициалов «Э. З.», вышитых красными нитками над нагрудным карманом.

— Ваша дочь Аманда, — повторила свой выпад Элизабет, — съедает школьный обед моей дочери, причем уже не первый месяц.

Уолтер только таращился. Рослая, угловатая женщина стояла подбоченясь: волосы цвета пересушенных тостов с маслом стянуты на затылке в узел и скреплены карандашом, губы беззащитно алые, кожа лучистая, нос прямой. Она смотрела на него сверху вниз, как фронтовая медсестра, прикидывающая, стоит ли такого спасать.

— Уже одно то, что Аманда строит из себя подружку Мадлен, чтобы только выманить у нее обед, — продолжала она, — совершенно недопустимо.

— Е... еще раз... П-повторите: кто вы? — пробормотал Уолтер.

— Элизабет Зотт! — рявкнула она в ответ. — Мать Мадлен Зотт!

Уолтер закивал, пытаясь понять, что происходит. Опытный режиссер вечерних телепрограмм, он знал толк в драматических эффектах. Но это? Он не сводил с нее глаз. Женщина была потрясающая. Ее появление его потрясло — буквально. Откуда же она взялась: разве на сегодня назначены какие-то пробы?

— Извините, — выдавил он в конце концов, — но все роли медсестер уже распределены.

— Вы о чем? — вскинулась она.

Наступила долгая пауза.

— Аманда Пайн, — повторила Элизабет.

Он заморгал.

— Моя дочь? Ох... — Уолтер вдруг занервничал. — Что с ней? Вы доктор? Или педагог? — Он вскочил со стула.

— Господи, нет, конечно, — ответила Элизабет. — Я химик. Примчалась сюда из Гастингса в свой обеденный перерыв, потому что вы не отвечаете на звонки. — И, видя, что он по-прежнему в ступоре, пояснила: — Научно-исследовательский институт Гастингса, слышали о таком? Где «Эпохальные Открытия Открывают Эпоху»? — На этом дурацком слогане она выдохнула. — Дело в том, что я всеми силами стараюсь обеспечить Мадлен полноценное питание, — не сомневаюсь, что вы стремитесь к тому же для своей дочери. — И добавила, встретив его бессмысленный взгляд: — Наверняка вам небезразлично умственное и физическое развитие Аманды. Наверняка вы знаете: эти виды развития определяются потреблением должного соотношения витаминов и минералов.

— Беда в том, что миссис Пайн...

— Знаю, знаю. Скрылась в неизвестном направлении. Я пыталась с ней связаться, но мне сказали, что она проживает в Нью-Йорке.

— Мы в разводе.

— Сочувствую, но развод не имеет отношения к школьным обедам.

— Вероятно, так может показаться со стороны, но...

— Мужчина в состоянии приготовить еду, мистер Пайн. Для этого нет биологических препятствий.

— Совершенно верно, — согласился он, нащупывая стул. — Прошу вас, миссис Зотт, присаживайтесь, пожалуйста...

— У меня циклотрон работает, — с досадой бросила она, глядя на часы. — Итак: мы достигли понимания или нет?

— Цикло...

— Резонансный циклический ускоритель тяжелых заряженных частиц.

Элизабет скользнула взглядом по стенам. Они были сплошь увешаны вставленными в рамы постерами мыльных опер и претенциозных телеигр.

— Мои проекты, — сообщил Уолтер, внезапно устыдившись их пошлости. — Быть может, вам что-нибудь из этого знакомо?

Она развернулась к нему лицом.

— Мистер Пайн, — Элизабет перешла на более примирительный тон, — к сожалению, у меня нет ни времени, ни средств на приготовление школьных обедов для вашей дочери. Нам с вами хорошо известно, что питание — это катализатор мозговой деятельности, укрепления семьи и формирования нашего будущего. Но при этом... — Элизабет осеклась и прищурилась, разглядывая постер с изображением медсестры, оказывающей больному весьма нетривиальную помощь. — Сподобится ли хоть кто-нибудь обучить население страны готовить рациональное питание? Я бы сама за это взялась, да не успеваю. А вы не возьметесь?

Она собралась уходить, и Пайн, не желая ее отпускать и не вполне сознавая, что зреет у него в уме, торопливо заговорил:

— Погодите, прошу вас, остановитесь... пожалуйста. Как... как вы сказали? Насчет того, чтобы приучить всю страну готовить такое питание... рациональное?

Телепрограмма «Ужин в шесть» дебютировала через месяц. Хотя Элизабет, ученый-химик, не особенно вдохновилась этим проектом, отказываться она не стала по очевидным причинам: здесь прилично платили, а ей предстояло поднимать дочь.

В первый же день, когда Элизабет, надев передник, вошла в студию, все убедились: что-то в ней есть — некое ускользающее, однако вполне ощутимое качество. Но при этом она была состоявшейся личностью — такой прямолинейной, такой решительной, что зрители не вполне понимали, как ее трактовать. Если во всех других кулинарных передачах им показывали добродушных поваров, которые лукаво прихлебывают херес, то Элизабет Зотт неизменно сохраняла серьезность. Она никогда не улыбалась. Никогда не шутила. И блюда готовила такие же честные и практичные, как она сама.

Через полгода программа Элизабет взорвала рейтинги. Через год все только о ней и говорили. А через пару лет она доказала поразительную способность объединять не только родителей с детьми, но и граждан — со своей страной. Не будет преувеличением сказать, что по окончании кулинарной передачи Элизабет Зотт вся нация дружно садилась к столу.

Программу эту смотрел даже вице-президент Линдон Джонсон. «Вам интересно, что я *думаю*? — переспросил он, отмахиваясь от назойливого репортера. — Я думаю, вам надо меньше марать бумагу и больше смотреть телевизор. Начните с программы „Ужин в шесть“ — эта Зотт свое дело знает».

И верно. Невозможно было представить, что Элизабет Зотт начнет объяснять, как готовятся миниатюрные огуречные канапе или нежное суфле. Рецепты ее пробуждали здоровый аппетит: рагу, тушеные овощи с мясом и прочие блюда, приготовленные в больших посудилах. Ведущая подчеркивала различия между четырьмя группами продуктов питания. Не возражала против щедрых порций. И пропагандировала только такие блюда, которые готовятся менее чем за час. В конце каждой передачи

с экрана звучала коронная фраза: «Дети, накрывайте на стол. Маме нужно немного побыть одной».

Но потом некий авторитетный журналист опубликовал статью под заголовком «Почему мы проглотим все, что она состряпает», где походя называл ведущую Конфетка Лиззи, и это прозвище, в равной мере броское и точное, прилипло к ней, как газетный лист. С этого дня совершенно незнакомые люди стали окликать ее «Конфетка», но дочь по-прежнему обращалась к ней «мама»: невзирая на свой юный возраст, Мадлен понимала, насколько это клеймо припихивает таланты ее матери. Она же ученый-химик, а не какая-нибудь телекухарка. И Элизабет, смотревшая на себя глазами своего единственного ребенка, сгорала со стыда.

По ночам, ворочаясь в постели, Элизабет временами удивлялась, как ее угораздило дойти до такой жизни. Но удивление вскоре развеивалось, потому что она давно все поняла.

Звали его Кальвин Эванс.

ГЛАВА 3

Научно-исследовательский институт Гастингса

Десятью годами ранее: январь 1952 года

Кальвин Эванс тоже работал в Научно-исследовательском институте Гастингса, но, в отличие от Элизабет, которая трудилась в многолюдном помещении, единолично занимал просторную лабораторию.

Судя по его достижениям, он, возможно, и заслуживал отдельной лаборатории. В девятнадцать лет он поставил ключевые опыты в том исследовании, за которое именитый британский химик Фредерик Сенгер получил Нобелевскую премию; в двадцать два года открыл метод ускорения синтеза простых белков; в двадцать четыре попал на обложку журнала «Кемистри тудей» благодаря совершенному им прорыву в изучении активности дибензоселенофена. Кроме того, он опубликовал шестнадцать статей и получил приглашения на десять международных конференций. А также на должность научного сотрудника Гарварда. Дважды. Но отказался. Дважды. Отчасти из-за того, что Гарвард в свое время не принял его на первый курс, а отчасти по той причине... ну, вообще говоря, другой причины не наблюдалось. У Кальвина, блестящего ученого, был определенный недостаток: он долго помнил обиды.

Наряду со злопамятностью молва приписывала ему нетерпимость. Как и многие уникальные личности, Кальвин попросту не мог взять в толк, почему люди не понимают элементарных вещей. Ко всему прочему он был интровертом; это качество само по

себе не порок, однако зачастую проявляется как высокомерие. Но что самое скверное: он занимался греблей.

Любой, кто далек от этого увлечения, подтвердит: гребцы — народ специфический. Главным образом потому, что они не желают говорить ни о чем, кроме гребли. Если в одной компании сходятся двое гребцов, то беседа на общие темы, такие как погода или работа, неминуемо сменяется тягостным, бессмысленным обменом мнениями про угол атаки, ускорение, занос, захват, напряжение, расслабление, запрыкидывание, прострел банки, стартовое положение, эрг и гладкую воду — была ли она в прошлый раз действительно «гладкой»? Далее, как правило, обсуждается, что пошло не так в последнем заезде, что может пойти не так в следующем и на чьей совести было/будет поражение. В какой-то момент гребцы, вытянув перед собой руки, меряются мозолями. И чтобы совсем уж вас доконать, за этим следуют сопровождаемые благоговейными кивками воспоминания об идеальном заезде, когда все шло как по маслу.

Если не считать химии, гребля была единственной страстью Кальвина. Строго говоря, именно ради гребли он и подавал документы в Гарвард: в 1945 году выступать за команду Гарварда означало выступать за лучших. Точнее, почти за лучших. Самым лучшим был Вашингтонский университет, но Вашингтонский университет территориально относится к Сиэтлу, а второе имя Сиэтла — «Город дождей». Слякоти Кальвин не терпел. По этой причине он расширил свой поиск до английского Кембриджа и тем самым развеял величайшее заблуждение насчет ученых-естествоиспытателей, которые, как принято думать, способны к научному анализу.

В первый же тренировочный день на реке Кэм Кальвин угодил под дождь. На второй день тоже. И на третий. «Здесь что, все время так поливает?» — жалобно вопрошал он, когда их команда, взвалив на плечи тяжелую деревянную восьмерку, направлялась к пирсу. «Да вовсе нет, — заверяли одноклассники, — обычно в Кембридже сухо». А потом переглядывались, мысленно добавляя «по самое ухо», и укреплялись в своем извечном подозрении: американцы — идиоты.

К несчастью, идиотизм Кальвина распространился и на отношения с противоположным полом, что выросло в серьезную проблему из-за его горячего желания влюбиться. За шесть лет студенческого одиночества он сумел назначить свидания пяти девушкам. Из этой пятерки всего одна согласилась на повторную встречу, да и то лишь потому, что по телефону приняла его за другого. Все упиралось в неопытность Кальвина. Он напоминал щенка, который после долгих стараний впервые поймал белку и теперь не знает, что с ней делать.

— Здравствуйте... э-э-э... — начал он, когда девушка открыла ему дверь, и почувствовал, как у него колотится сердце, потеют ладони и улетучиваются все мысли. — Дебби?

— *Дейдре*, — вздохнула его избранница и в первый, но отнюдь не в последний раз украдкой взглянула на часы.

За ужином разговор блуждал между такими темами, как молекулярное строение кислот ароматического ряда (Кальвин) и ближайшие киносеансы (Дейдре), неактивные белки (Кальвин) и его любимые или нелюбимые танцы (Дейдре) и застопорился на «времени-то уже полдевятого, а утром гребля, пора домой, идем, я тебя провожу» (Кальвин).

Стоит ли говорить, что после таких свиданий бурного секса не случалось. И никакого другого тоже.

— Не верится, что у тебя проблемы, — говорили ему товарищи по кембриджской команде. — Девчонки обожают гребцов. — (Бессовестная ложь.) — Ты хоть и американец, но парень хоть куда. — (Еще одна ложь.)

Источником проблем Кальвина отчасти была его осанка. При росте под два метра он, худощавый и долговязый, вечно клонился набок, — видимо, сказывалось его постоянное место в распахнутой лодке. Но еще хуже обстояло дело с лицом. На нем застыло одиночество, как у ребенка, предоставленного самому себе: большие голубые глаза, непослушные светлые вихры и лиловатые губы, вечно распухшие из-за его привычки их кусать. Такое лицо некоторые сочтут невзрачным, оно представляло собой композицию качеством ниже среднего, ничем не выдававшую ни тайного желания, ни скрытого интеллекта; спасала положение лишь одна важнейшая черта — зубы: ровные, белые, при каждой улыбке озарявшие весь его физиономический ландшафт. Хорошо еще, что Кальвин, в особенности после того, как запал на Элизабет Зотт, улыбался постоянно.

Познакомились они, а точнее, обменялись парой ласковых как-то утром, во вторник, в Научно-исследовательском институте Гастингса, в том частном храме науки солнечной Южной Калифорнии, где Кальвин, выпускник Кембриджа, в кратчайшие сроки защитивший диссертацию и получивший сорок три предложения трудоустройства, выбрал для себя лабораторию — отчасти руководствуясь репутаци-

ей учреждения, но в основном из-за атмосферных условий. В Коммонсе почти не бывало дождей. Элизабет, в свою очередь, выбрала Гастингс потому, что единственное предложение работы поступило ей именно оттуда.

Стоя под дверью лаборатории Кальвина Эванса, она заметила несколько объявлений подряд, написанных крупными буквами:

НЕ ВХОДИТЬ
ПРОВОДИТСЯ ЭКСПЕРИМЕНТ
ВХОД ВОСПРЕЩЕН
НЕ ПРИБЛИЖАТЬСЯ

В конце концов Элизабет заглянула внутрь.

— Здравствуйте! — выкрикнула она, перекрывая Фрэнка Синатру, гремевшего из портативного проигрывателя, почему-то стоявшего на полу в центре помещения. — Мне нужно переговорить с начальством.

Из-за большой центрифуги высунулась голова Кальвина, удивленного чужим голосом.

— Прошу прощения, мисс, — раздраженно прокричал он в ответ, глядя сквозь герметичные очки, которые защищали его глаза от бурлящей где-то справа жижи, — но сюда посторонним вход воспрещен! Вы что, объявлений не видели?

— Видела! — рявкнула Элизабет и, не обращая внимания на его тон, двинулась напрямик через всю лабораторию, чтобы вырубить музыку. — Так-то лучше. Мы хотя бы услышим друг друга.

Кальвин пожевал губы и указал пальцем на дверь.

— Вам здесь находиться не положено, — сказал он. — Читайте объявления.

— Да-да, хорошо, но дело в том, что у вас в лаборатории, насколько я знаю, имеются лишние колбы,

а у нас, впизу, их остро не хватает. Здесь все указано. — Она сунула ему какой-то бланк. — С визой начальника административно-хозяйственной части.

— Впервые слышу, — пробормотал Кальвин, изучая документ. — Я, конечно, извиняюсь, но нет. У меня каждая колба на счету. Думаю, мне стоит переговорить с кем-нибудь из химиков. Скажите своему завлабу, пусть сюда позвонит.

Щелчком включив проигрыватель, Кальвин вернулся к работе. Элизабет не шелохнулась.

— Желаете переговорить с кем-нибудь из химиков? Но только НЕ СО МНОЙ? — Своим криком она заглушила Синатру.

— Именно так! — ответил Кальвин, но тут же смягчился. — Слушайте, я понимаю, вы не виноваты, что начальство поручило щекотливое дело секретарше. Я понимаю: вам, наверное, трудно это осмыслить, но у меня в разгаре очень серьезный эксперимент. Так что сделайте одолжение — передайте своему боссу: пусть он мне позвонит.

Элизабет прищурилась. Она не жаловала тех, кто делал выводы на основании давно устаревших, по ее мнению, визуальных стимулов, как не жаловала мужчин, полагающих — будь она хоть трижды секретаршей, — что секретарша не способна осмыслить других слов, кроме «распечатайте в трех экземплярах».

— Какое совпадение! — выкрикнула она, подходя к стеллажу, и подхватила большую коробку с колбами. — У меня тоже масса дел.

И решительно вышла в коридор.

В штате Научно-исследовательского института Гастингса числилось более трех тысяч сотрудников; по этой причине Кальвин целую неделю не мог